

*“Путь устрашения –
чудовищен.*

*Не пора ли попытаться
найти другой путь,
другую формулу:*

*«Живите и давайте
жить другим»,*

или более старую:

«На земле мир,

в человецех

благоволение?»”

К.А. Тимирязев

Климент Тимирязев

РОССИЯ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН

ОБ «ОХРАНИТЕЛЯХ», ВОЙНЕ И РУССКОЙ ЧЕСТИ

Кто мы? (Алгоритм)

Климент Тимирязев

**Россия на пороге перемен.
Об «охранителях»,
войне и русской чести**

«Алисторус»

1905-1916

УДК 94(47).083
ББК 63.3(2)5

Тимирязев К. А.

Россия на пороге перемен. Об «охранителях», войне и русской чести / К. А. Тимирязев — «Алисторус», 1905-1916 — (Кто мы? (Алгоритм))

ISBN 978-5-00269-736-6

«Когда я прислушиваюсь то к торжествующим, то к негодующим голосам наших охранителей, в моей памяти возникают слова, приписываемые Калигуле, – пусть ненавидят, лишь бы боялись. Охватывая сначала «внутренних врагов», эта категория распространилась далее на отдельные национальности, поглощенные «русским морем», а теперь уже чуть ли не должна охватить кольцом весь земной шар, – писал в начале XX века К. А. Тимирязев (1843–1920), всемирно известный русский ученый. – Многострадальный наш народ призывается нести последние свои крохи на вооружения, истекать кровью в непосильной борьбе против всего света, сосредоточить на себе все ненависти ради того, чтобы оставаться вечной угрозой всем, кто осмеливается, внутри или извне, мыслить не так, как наши охранители. В этой борьбе признается провиденциальное культурное призвание русского народа». В своих статьях, представленных в данной книге, он пишет о том, как России встать на иной путь, уделяя немало место роли науки в этом преобразовании.

УДК 94(47).083
ББК 63.3(2)5

ISBN 978-5-00269-736-6

© Тимирязев К. А., 1905-1916

© Алисторус, 1905-1916

Содержание

Охранители и «Еремушки»	7
Охранители	7
Наши Еремушки	11
От зверя к человеку	13
Честь русского народа	16
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Климент Аркадьевич Тимирязев
Россия на пороге перемен
Об «охранителях», войне и русской чести

* * *

© ООО «Издательство Родина», 2026

Охранители и «Еремушки»

Охранители

(из статьи «Академическая свобода»)

После долгого сна и оцепенения русское общество как будто встрепенулось; снова перед ним раскрываются широкие перспективы будущего; снова просыпается надежда вернуться к освободительному движению, так внезапно задержанному и превратившемся в постоянно ускорявшееся попятное движение с его неизменными спутниками – всякими невзгодами и бедствиями.

На этот раз вопрос поставлен ясно: идти ли нам тем же путем, которым шли нас обогнавшие в развитии цивилизованные народы, или сохранить дорогие нашим охранителям исконные, самобытно византийские устои, прикрывая их для приличия одной внешней маской цивилизации? Свобода совести, свобода слова и собраний, гарантия основных прав личности – все под защитой свободного народного представительства, вот ежедневно напоминаемые основы, без которых счастливый гражданин каждой истинной цивилизованной страны не может себе представить ее мирного, нормального преуспевания.

Но западная культура создала еще и особые факторы цивилизации, нормальное функционирование которых еще менее мыслимо без применения широкой свободы. Это безотчетно сознавалось даже в те отдаленные времена, когда во мраке изживавшего свой век средневековья начинала брезжить заря новых времен. Этими факторами были университеты. Их основатели – мудрые правители, прелаты, сами папы – смутно сознавали, что в мире зарождаются новые течения мысли и что этой мысли было тесно в старых школах, подчиненных клиру, что новое вино не вливают в старые мехи. И вот возникли новые учреждения, как бы оазисы, обеспеченные среди царившего кругом бесправия и насилия возможною степенью свободы под защитой самоуправления. Эти учреждения Запада целиком пересажены на нашу почву; в применении к ним самые фанатические самобытники не смогли бы приурочить каких-либо исконно самобытных идеалов.

Составной частью неразрывного целого – *universitas magistrorum et scholarium* [университет учителей и учащихся] – являются студенты. Однако здесь существует различие между университетами Запада и нашими. Есть ли что-либо общее между положением немецкого и современного русского студента? Первый признается самостоятельным и полноправным судьей своих научных потребностей и желаний и способов их удовлетворения. Он слушает кого хочет, где хочет, когда хочет: сегодня – знаменитого физика в Берлине, завтра – известного химика в Лейпциге, зимой сидит в лаборатории, летом изучает ботанику по живым растениям и т. д.

Это право свободного выбора – в то же время одно из условий высокого научного уровня университетского преподавания. Каждый университет прямо заинтересован привлекать выдающихся ученых. Свободных слушателей можно привлечь в аудиторию только блеском имен. Крепостных можно заставить слушать кого угодно.

* * *

Наш современный студент уже стал в буквальном смысле крепостным – он прикреплен к земле своего округа, и этой мере нельзя приписать никакого смысла, кроме полицейского. Вступая в стены университета, он с первых шагов и до выхода оплетен целой сетью обязатель-

ных лекций, экзаменов, зачетов, конспектов и т. д. Как дико звучат все эти слова для слуха европейского или даже старого русского студента, а между тем находились поколения учащихся и учащихся, которые не могут себе представить свободной университетской науки вне этой школьно-полицейской обстановки. И опять, куда бы ни шло, если бы все, что стесняет студента в его академической свободе, было делом определенного закона – *dura lex, sed lex* [сурового закона, но закона]. Но наоборот, он видит, что этот закон нарушается на каждом шагу. Знает он, например, что не может ни под каким видом окончить университета, если ему не зачтены восемь семестров, но вот каждую осень он может прочесть в газете, украшенной клеймом университета, что за приличную плату он может обойти этот закон и расквитаться с университетом в шесть семестров. Из закона (устава) он может узнать, что вносит в пользу университета 5 р. в семестр и волен записываться на такие лекции, на какие пожелает, а ему объявляют, что он обязан в пользу университета вносить 25 р. да еще записаться приблизительно на такую же сумму обязательных лекций, в противном случае ему грозит немедленное удаление. Немецкий студент записывается на лекции и занятия соответственно своим средствам и потребностям и платит не огулом, а соответственно тому, что получает по собственному выбору и что может с пользой усвоить.

Если европейский студент как совершеннолетний гражданин свободно распоряжается своим временем и выбором научных занятий, он является таким же свободным распорядителем и в других сторонах своей коллективной университетской жизни. Можно пройти из конца в конец университет, заглянуть во все закоулки и не встретить неизвестной немецкому студенту даже по имени университетской полиции, т. е. инспекции. Может ли себе представить западный студент, какую роль играет в жизни русского студента это слово «полиция»? Университетская и внеуниверситетская, тайная и явная, в форме педеля или старшего дворника, субинспектора или околоточного, жандарма или таинственной безмундирной личности полиция, бесконечно переплетающаяся в своем воздействии, то взаимно поддерживая и прикрывая, то расходясь в оценке того же поступка, но всегда безответственная, без тени какого-либо суда и защиты, могущая разбить молодую жизнь, навсегда прервать ее мирное течение, оказать свое злое влияние даже долго по окончании университета и негласно закрыть молодому человеку пути к разумной, полезной для общества деятельности, на которую дают ему право годы добросовестного труда, засвидетельствованные официальными дипломами. Не удивительно, что при этой безнадежной обстановке учащаяся молодежь привыкает видеть и в университетских властях не законных своих защитников, а более выдающихся представителей той же со всех сторон охватывающей ее полиции.

Я знаю, что возражают на это наши охранители. Западный студент может пользоваться значительной долей свободы, может быть освобожден от этого ежеминутного раздражающего надзора и произвола полиции внутренней и внешней, потому что знает только свои узкоуниверситетские интересы, а его старшие – профессора – его в этом поощряют. Едва ли это применимо к английскому студенту, еще на школьной скамье в различных *debating societies* [дискуссионных обществах] приучающемуся к свободному обсуждению животрепещущих политических вопросов. А если современный немецкий студент сравнительно мало интересуется политической жизнью своей страны, то это вызывает не поощрение, а скорее порицание его учителей. Передо мной лежит книга немецкого профессора (Циглера, профессора философии в Страсбурге), далеко не радикального образа мыслей, призывающего своих слушателей не сторониться кипящей вокруг них политической жизни; напротив, он советует им выбирать для зимних семестров именно толчею крупных политических центров, посещать (*horribile dictu!*) [страшно сказать!] собрания социал-демократической партии, чтобы заранее ознакомиться с запросами того народа, которому они призваны служить.

В свою очередь и реакционная партия не дремлет; мне приходилось читать в немецких газетах патетические призывы к аристократическим студенческим корпорациям, приглашаю-

щие их уделить часть досуга, посвящаемого традиционному пьянству и кутежам, на борьбу с гидрой социализма. Но ни та ни другая сторона не взывает к ограничению академической свободы, не требует отдачи своих сыновей, своих будущих надежд, под неусыпный надзор полиции, не предоставляет их в безответственное распоряжение этой полиции, не требует даже, чтобы они были оплетены целой сетью школьных предписаний, которые лишали бы их возможности вдумчиво и самостоятельно отнестись и к избранному научному пути, и к бесконечно сложным явлениям несущейся мимо них общественной жизни.

Нет, различие не в студентах, наших или западных, а в той точке зрения, которая веками установилась на них на Западе, и той, которая пустила корни за последние десятилетия.

* * *

Когда, вот уже скоро 40 лет, я прислушиваюсь то к торжествующим, то к негодующим голосам наших охранителей, в моей памяти неизменно возникают слова, запавшие в нее еще в те далекие годы, когда приходилось зубрить учебник древней истории, слова, приписываемые Калигуле, – *oderint, dum metuant* [пусть ненавидят, лишь бы боялись] – с их строго логическим выводом-желанием, «чтобы все человечество имело одну голову, так, чтобы ее можно было бы снести одним ударом». Весь этот строго логический путь упоения человеконенавистничеством проделали на глазах нашего поколения наши охранители. Разве это «пусть ненавидят, лишь бы боялись» не было неизменным их лозунгом? Кто боялись бы? Эта категория долженствовавших трепетать непрерывно разрасталась. Охватывая сначала «внутренних воров» (такова самая новейшая номенклатура), распространяясь далее на отдельные национальности, поглощенные «русским морем», она вышла за пределы этого моря, перекинулась за океан, а теперь уже чуть ли не должна охватить кольцом весь земной шар. Многострадальный наш народ призывается нести последние свои крохи на вооружения, истекать кровью в непосильной борьбе против всего света, сосредоточить на себе все ненависти ради того, чтобы оставаться вечной угрозой всем, кто осмеливается, внутри или извне, мыслить не так, как наши охранители. В этой борьбе признается провиденциальное культурное призвание русского народа.

Не доказывает ли чудовищность вывода, что путь, который к нему логически привел, ошибочен. Это – неизменный путь устрашения. Не пора ли попытаться другой путь, другую формулу, хотя бы более скромную: «Живите и давайте жить другим», или ту, более старую, почти современную Калигуле: «На земле мир, в человеках благоволение»?

Не пора ли вернуться к той точке отправления, свернув с которой за четверть века тому назад наши охранители пустились в свой рискованный поход? Не пора ли предоставить русскому человеку пользоваться своими правами и свободой во всей их полноте и не начать ли с начала, с освобождения мысли и тех учреждений, которые были действительными исконными ее орудиями там, откуда они заимствованы нами?

Я знаю вечный припев о преждевременности, о неподготовленности. Но кто же виноват, что за целую почти человеческую жизнь ничего не сделано для этого приготовления и мы теперь стоим еще далее от цели, которой все равно не миновать! За это время тяжелый переходный период был бы давно за плечами.

Кто из живых свидетелей нашей первой освободительной эпохи не помнит ликующей дилеммы, за которую прятались, как за неприступную стену, самобытники-охранители того времени: «Освобождать невежественных рабов! Прежде просветите их». И вслед за тем: «Просвещать рабов! Чтобы они только поняли всю тяжесть своих цепей». Но эта торжествующая дилемма сгинула без следа: гордиев узел был рассечен историческими словами: «Мы живем в таком веке, что со временем это должно случиться... гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу». И русский народ не имел повода раскаиваться в том, что послушался этого предостережения. Именно с той минуты рванулся он вперед, в первый раз после тысяче-

летнего существования проникся он уважением к самому себе и, несмотря на то что недавно вышел из неудачной внешней борьбы, стал не угрозой только, а предметом уважения и для своих старших братьев, опередивших его на пути развития.

Сейчас мы стоим снова на пороге освободительного периода. Снова предстоит выбор – мирный прогресс на почве гражданской свободы или *oderint, dum metuant* [пусть ненавидят, лишь бы боялись] со всеми его ужасными последствиями – *tertium non datur* [третьего не дано].

Наши Еремушки (из статьи «„Ошибка“ и „Отрадное явление“»)

*Сила ломит и соломушку —
Поклонись пониже ей,
Чтобы старише Еремушку
В люди вывели скорей.*

Некрасов

Как давно сказаны эти слова, но почему же они приходят на память по поводу самой свежей действительности?

На днях на страницах «Русских Ведомостей» можно было прочесть следующие известия: приват-доцент Усов, в 1911 г. в числе 125 преподавателей ушедший из Московского университета, в 1913 г. подал прошение о принятии его обратно. Факультет, усмотрев в этом «отрадное явление», уважил его просьбу, и на своей вступительной лекции этот приват-доцент назвал поступок 124 «ошибкой». Таким образом, в казенном здании на Моховой поступок 124 бывших преподавателей, защищавших свое человеческое достоинство и не желающих теперь увеличить собой ряды ренегатов, которыми кишит русская земля, признается «ошибкой», а обратный образ действия одного приват-доцента — «отрадным явлением».

Как старший из 124 позволю себе повторить, что смотрел и смотрю на этот поступок иначе. Я считал и считаю, что, поступая так, «Московский университет сделал усилие, чтобы устоять от напора мутной волны повального раболепия, от которой — еще немного — и может захлебнуться совесть целого народа».

Привожу свидетельство, подтверждающее, что именно так смотрят на подобные поступки в культурных странах, откуда мы заимствовали самые понятия: университет, профессор и т. д. Вот слова ректора Гейдельбергского университета, обращенные ко всему студенчеству, явившемуся поздравить его с избранием:

«В сравнении с раскрытием истины ее открытое исповедание является при некоторых условиях гораздо более тяжелой обязанностью университетского профессора. Одно — дело разума и природного таланта, другое — дело характера и воли. Свет, который свободно сияет с высоты своего светильника, проникает в темные закоулки и беспокоит тех, кто укрывается в их мраке. Что же в том удивительного, что страдающие светобоязнью силы мрака набрасываются на тех, кто исповедует истину, и пытаются их доканать!

По счастью, в истории немецких университетов не было недостатка в профессорах, являвших собой пример не отступавших перед жертвами, бесстрашных защитников свободы преподавания и открытого исповедания своих убеждений. За 62 года до нашего времени на небе Геттингенского университета блистало яркое созвездие семи таких звезд. Эти семь профессоров *Georgiae Augustae* по большей части мирные ученые, стоявшие вдали от политической злобы дня, восстали против властителя, позволившего себе насилие над правом и конституцией, и напечатали там знаменитый „Протест возмущенной совести“, который им стоил потери их кафедр и еще целого ряда преследований. Этот поступок навеки увенчал венцами славы имена Альбрехта, Дальмана, Эвальда, Гервинуса, братьев Гримм и Вильгельма Вебера.

Правда, нам в наши дни рассказ об их поступке представляется чем-то легендарным. Но мы-то будем надеяться на лучшее. Пример геттингенцев не должен пройти бесследно для последующих поколений немецких профессоров!»

Он не прошел бесследно и для русских. Таким «протестом возмущенной совести» и было то, что теперь на Моховой называют «ошибкой».

* * *

Но эта «ошибка» наводит в настоящую минуту и на более широкие размышления, затрагивает еще более общие интересы, дает толчок воспоминаниям, идущим в глубь истории значительно далее девятнадцатого века. В настоящую минуту живо обсуждается вопрос: может ли один человек лишать другого права заседать в нашей Верхней палате потому только, что этот другой человек имеет несчастье носить звание русского профессора? Возбуждается попутно даже вопрос: возможно ли подобное явление, например, в Англии? Может ли какой-нибудь человек выгнать из парламента представителя Кембриджа или Оксфорда? Конечно, каждый англичанин только расхохочется в ответ на такой вопрос. Это физически невозможно, как невозможно, чтобы река потекла вверх или горы бросились в море, невозможно потому, что не только все тысячи людей, составляющие университетские сенаты, возмутились бы как один человек, но и вся нация, представленная стихийной силой общественного мнения, этого не допустила бы.

А почему же так? Потому, что английский народ в течение веков в лице лучших своих людей делал «ошибки», отстаивал свое человеческое достоинство от всяких на него посягательств и ради этого не останавливался ни перед какими жертвами. Говорят, «ошибка» уходить из университета, когда от вас всего-то только требуют: «поклонись пониже» перед силой, какая бы она там ни была.

А вот англичане уже три века тому назад, не желая поклониться силе, ушли даже совсем из своей родины и создали себе новую, свободную, за океаном, и тех, кто сделал эту «ошибку», до сих пор почитают на половине земного шара. А когда через полтора века позднее англичане, из тех, которые не ошибались, задумали снова добаться до тех, которые по «ошибке» ушли, то между последними нашелся англичанин (его звали Джордж Вашингтон), который сказал: «Или эта страна обагрится кровью, или она будет населена рабами; ужасный выбор, но кто же может колебаться в нем?» Выбор его, конечно, был «ошибкой». Но народ разделил с ним его «ошибку», а история и эту «ошибку» оправдала.

Конечно, история английской расы повествует не об одних только «ошибках», случались и «отрадные явления», да только потомство сохранило свои симпатии к тем, кто делал «ошибки». Англичане в течение веков привыкли к мысли: все возможно – уйти из родины, уйти из жизни, невозможно только одно – рабство или, что еще позорнее, раболепие. Вот почему современные англичане не вынуждены «уходить» из своих университетов. Вот почему на ваш вопрос, может ли министр выгнать университетского депутата из парламента, современный англичанин отвечает только хохотом.

Сколько веков пройдет, пока наши Еремушки поймут, что защищать свое человеческое достоинство не «ошибка», а их «старшие» – что ренегатство не «отрадное явление», а те и другие вместе поймут, что рабскую мораль старухи, в которой Некрасов олицетворяет крепостную Россию, не навязать народу, в сознание которого уже «запало» «жизни чистой, человеческой плодотворное зерно».

От зверя к человеку **(из одноименной статьи)**

Все чаще и чаще приходится встречать сопоставления между дарвинизмом и общественной этикой, причем одни признают благотворное, а другие, наоборот, зловерное воздействие этого биологического учения на сферу человеческой деятельности. В большей части случаев рассуждение вертится вокруг злосчастной «борьбы за существование», которую одни готовы всецело распространить на человеческую деятельность, другие, наоборот, справедливо возмущаются при этой мысли, но уже совершенно несправедливо делают ответственным за нее Дарвина.

Может быть, и мне, старому дарвинисту, будет позволено сказать несколько слов на эту тему. Ошибка здесь, как и во многих случаях, мне кажется, заключается в том, что ищущие аналогий забывают, что задача исследователя заключается не только в том, чтобы видеть сходство, где оно есть, но и не видеть его там, где нет, где оно прекращается. Точно ли биологическая (или, вернее, зоологическая) борьба за существование с ее исходом – взаимным истреблением борющихся сторон – общий закон, обнимающий всю природу, со включением человеческих обществ, или человеку, по крайней мере на высших ступенях своего развития, удалось парализовать его роковое действие, заменив его чем-то иным, идущим ему на смену? Отстаивать первое мнение – значило бы закрывать глаза перед двумя важными факторами, положившими резкую грань между биологической борьбой и человеческим прогрессом.

Если человек разделяет с животным всю способность к прямой борьбе, то он создал два новых средства, ее ограничивающие, смягчающие и в конце концов призванные ее упразднить.

Как часто за последнее время приходилось слышать перебрасываемый политическими партиями то в ту, то в другую сторону укор: вы только говорите, а мы дело делаем, а между тем, не боясь впасть в парадокс, можно, кажется, сказать, что в известном смысле весь прогресс человеческого общества сводится к замене дела словом.

Когда сталкиваются две коллективные воли, борьба неизбежна. Но человек тем главным образом и отличается от своего зоологического предка, что эту, казалось, неминуемую, клонящуюся к взаимному истреблению борьбу он научился заменять ее подобием.

Существуют целые тома, трактующие об играх человека и животных, как о сохранившемся подобии борьбы. Но мне не припомнится, чтобы кто-нибудь высказал эти соображения по поводу другого подобия борьбы – уже не бессознательного, бесцельного пережитка старой, а ее могучего соперника и заместителя, призванного все более и более вытеснять ее из человеческого обихода.

Когда во мраке времен вооруженный воин при разрешении внутренних раздоров вместо того, чтобы хвататься за меч, додумался просто поднимать свой щит, он этой символической заменой столкновения сил, их простым подсчетом провел пограничную черту, отделяющую человека от его предка – зверя. С того момента борьба с ее неразлучным спутником – истреблением – перестала быть мировым законом. Насильник понял, что всегда найдется насильник еще сильнее, но что есть кто-то, кто сильнее всех их, и этот кто-то – все. Когда все свободно высказывают свою волю, прямая борьба становится, очевидно, излишней, невозможной.

* * *

Истекший век провозгласил эту истину в ее самой широкой, самой определенной форме – всеобщей подаче голосов. Но в тот же век в стране, ранее успешнее других заменившей прямую борьбу ее подобием, в стране, откуда пришло учение об естественном происхождении

человека (Дарвин), развилось и учение об естественном происхождении этики (Д. С. Миль) с ее краткой и – что бы ни говорили моралисты-метафизики – неопровержимой формулой: The greatest happiness of the greatest number [наибольшее благо наибольшего числа].

Заменив прямую борьбу ее подобием – всеобщим голосованием, условившись относительно реальной цели общественной этики, можем ли мы далее утверждать, что это средство само собой ведет к этой цели? Конечно, нет. Желать общего блага еще не значит его осуществить, еще менее – уметь разобраться в выборе между большим и меньшим благом. Но едва ли обладает значительной убедительной силой и так часто раздающийся возглас житейских мудрецов: как, доверить заботу о высшем благе непросвещенному большинству? Предъявляющие этот аргумент как бы умышленно забывают, что существует нечто хуже господства непросвещенного большинства, это – господство непросвещенного меньшинства.

Для сравнительной оценки этих двух зол нет даже надобности перебирать историю – личного опыта людей нашего поколения для этого достаточно. Правда, мы собственными глазами видели, как голосующее большинство своим плебисцитом уполномочило Наполеона III довести французский народ до Седана и до грозившей ему, казалось, окончательным разорением чудовищной контрибуции, но правда ведь и то, что управлявшее безгласным русским народом меньшинство довело его сначала до полного разорения, а потом повело к Мукдену и Цусиме. Этим, впрочем, ограничивается сходство; далее начинается различие: французский народ нашел в своих учреждениях средство быстро заживить свои раны. А русский?..

Просвещенным радетелям о благе непросвещенного большинства, боящимся встретить в нем противника своим благим начинаниям, боящимся, что придется вступить с ним в борьбу, можно припомнить вторую из упомянутых мной выше и еще более глубокую черту отличия между человеческой и зоологической борьбой. Позволю себе привести свои слова, сказанные не ad hoc (к данному случаю), а уже давно и по другому поводу: «Не забудем, что человек в сравнении с животным обладает гораздо более могучим орудием борьбы. Животное может уничтожить врага, и только. Один человек обладает высшей силой превращать врага в союзника».

Скажут: так рассуждать может только идеолог; и в человеческих делах победа всегда на стороне грубой силы. Едва ли это верно, и за примерами обратного ходить недалеко. Последний год истекшего столетия отмечен двумя годовщинами – рождения Гутенберга и мученической смерти Джордано Бруно. Не символично ли это совпадение? Не наводит ли оно нас на мысль о борьбе двух сил, орудиями которых были костер и книга? Которое из них было сильнее, страшнее и победоноснее вначале? Костер задушил голос Бруно, исторгнул отречение Галилея, вынудил малодушие Декарта. А что он боролся против книги, не доказывает ли этого тот факт, что еще долго после того, как палач перестал взводить на костер мыслителя, он продолжал бросать в огонь его оружие – книгу. Но победила книга! И победила потому, что на одного врага, которого истреблял костер, она превращала тысячи в единомышленников. Перед книгой исчезла та «Sancta Simplicitas» [Святая простота], которой поддерживался огонь костров. Эта борьба за освобождение мысли, закончившаяся, может быть, единственной, отмеченной историей, окончательной, бесповоротной победой света над тьмой, – эта борьба тем более назидательна, что в ней на одной стороне было дело, а на другой – только слово. Не доказывает ли она, что слово, когда оно исходит из рядов действительно просвещенного меньшинства, обладает чудодейственной силой превращать это меньшинство в большинство.

Свободный голос каждого человека как выражение его свободной воли, делающий излишним ее фактическое проявление, и свободное слово как залог того, что этот голос рано или поздно станет голосом разума, – вот, что бы ни говорили, единственное реальное средство, до которого додумалось человечество для упразднения бессмысленной, жестокой биологической борьбы, для замены ее человеческим прогрессом.

Вот почему для дарвиниста, охватывающего одним взглядом эти оба процесса, скромная избирательная урна представляется каким-то символическим межевым знаком между царством человека и царством зверя. И вот почему для него особенно ясно, что всякое дело, всякая попытка искусственно извратить это едва ли не высшее до сих пор произведение человеческого творчества в сфере общественной жизни, что все то, что подрывает надежду на эту замену зоологической борьбы ее человеческим подобием, толкает людей назад по пути озверения.

Повторяя с Фаустом «вначале было дело», мы только переносим ударение на первое слово и добавляем: на смену дела идет слово, и слово станет делом.

* * *

Мне приходилось слышать мнение, будто этой статьей я хотел выразить осуждение всякой революции. Само время появления статьи указывают, что я имел в виду только извратителей избирательной системы (Столыпиных, Саблеров и К^о), толкавших в революцию. Но я полагаю, всякому понятно, что пулемета словом не прошибешь.

Можно убеждать только того, кто владеет пулеметом, – солдата; в этом самая характеристическая черта всех последних революций. А раз заговорили пулеметы, «слово» отходит на задний план.

Честь русского народа *(из статьи «Полвека. 1855–1905.* *По поводу отмененного юбилея»)*

В отделе университетских известий «Московских Ведомостей» помещено следующее полуофициальное извещение: «К 12-му января. В последнее время в обществе распространился слух о том, что 12 января этого года Московский университет устраивает торжество в честь 150-летия со дня своего учреждения.

По этому поводу мы получили такие сведения. Ввиду... тяжелых событий на Дальнем Востоке в этом году 12 января торжественное собрание в актовом зале университета, вероятно, не состоится».

Не стану говорить, с какою горечью встретят это известие, может быть, десятки тысяч людей, старых и молодых, уже много лет готовившихся встретить этот день, с которым, основательно или неосновательно, связывают светлые воспоминания чуть не лучших годов своей молодости. Что же, нет юбилея, не приходится говорить и о юбилеяре. Но те мотивы, которые приводят в пользу того, чтобы этот день прошел ничем не отмеченным от любого другого дня, наводят на тяжелые мысли, не лишенные глубокого содержания, мысли, к которым каждый должен приложить «всю силу разума своего» для того, чтобы разобраться в них.

В эту минуту, как и пятьдесят лет тому назад, мысли обращены к внешней борьбе, но так же, как и тогда, если все сдаются перед очевидностью неудачи, так же, как и тогда, различны воззрения о том, к чему призывает она русский народ. Громче, самоувереннее раздаются голоса: русский народ в эти минуты может думать только об одном – об отмщении за свою честь! Но кто же осмелится утверждать, что честь русского народа, честь вышедшей из его рядов армии затронута результатом поединка между двумя народами? Ведь понятие о чести только в переносном смысле распространяется на народ; оно заимствовано из отношений личных. А слышал ли кто-нибудь, чтобы в поединке раненый лишился чести, а сохранял ее только тот, кто ранил? Неужели обесчещенным остался Пушкин, а с честью вышел из борьбы Дантес?..

Нет, честь народов еще менее, чем честь отдельных лиц, бывает задета исходом поединка, потому что и ответственными они бывают только косвенно, особенно те из них, которые лишены права голоса при вызове. Русский народ и вышедший из его рядов русский солдат были всегда равно достойны, равно велики и в счастье, и в несчастье; и в несчастье, может быть, еще более, чем в счастье. Но как различны были те плоды, которые он пожинал от своих побед и поражений! У воинствующих патриотов не сходит с уст «священная память двенадцатого года». Правда, героичны были усилия, почти сказочно победное шествие от Москвы до Парижа, а что получил в награду русский народ? Ту свободу, на которую он с таким правом мог рассчитывать? Нет, его наградой была полувекковая сатурналия крепостного права, которая поборниками этого порядка, фарисейски начертавшими на своем знамени слово «народность», выдавалась за патриархальное благоденствие народа. Только ежегодные всеподданнейшие отчеты министров, сообщавшие о числе зарезанных помещиков, о задушенных подушками помещицах, заставляли подозревать, что не «все обстоит благополучно».

А геройская армия, что получила она в награду? – аракчеевщину, залитые кровью военные поселения, царство шпицрутена и полного забвения человеческих прав солдата. А те немногие, кто пытался еще отстаивать права народа на освобождение от рабства, кто на деле проявил человеческое отношение к солдату, какова была их награда...

Вот что заслужил русский народ, героически защищая свою честь. Торжество поборников «народности» продолжалось невозбранно. Но на тех, кто не переставал чувствовать и думать, напал ужас. «Общество быстро погружается в варварство. Спасай, кто может, свою душу», –

заносил в свой дневник Никитенко. Живые стали завидовать тем, кто умер. «Благо Белинскому, умершему вовремя». «Подчас глубоко завидую Белинскому, вовремя ушедшему», – повторял Грановский. Но грянул день суда; если к какому-нибудь, то именно к этому времени подходили слова Шиллера: «Die Weltgeschichte ist das Weltgericht» [«всемирная история – всемирный суд»].

Когда Московский университет праздновал свой столетний юбилей, у всех на уме было одно только слово – Севастополь. У лучших людей удивление перед героизмом его защитников заслонялось полным отчаянием в судьбах русского народа. «Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранить какую-нибудь надежду на будущность самого сильного и крепкого из славянских племен», – писал Грановский Герцену. «Наши матросы славно умирают в Крыму, но жить здесь не умеют».

Укоряя русский народ в уменье только умирать, а не жить, Грановский сам в порыве безнадежной непоследовательности через несколько месяцев писал следующие строки: «Будь я здоров, я бы пошел в милицию без желания победы России, но с желанием умереть за нее».

То, что ускользнуло от когда-то проницательного взора историка, промелькнуло в ставших пророческими словах Тургенева. Почти в те же самые дни, когда у Грановского вырвались эти строки безмерного отчаяния, Тургенев в письме к Анненкову высказал оптимистическую мысль: «Хотя бы мы могли воспользоваться этими страшными уроками, как пруссаки – иенским поражением». И мы ими воспользовались. То, чего не дало русскому народу победное шествие в Париж, то получил он от севастопольского поражения.

Но по мере того как сглаживались воспоминания о Севастополе, надвигались «тени грядущих событий», к исходу пятидесятилетия сгустившиеся вновь в ужасный мрак порт-артурских дней. Те, кто сейчас призывают русский народ к новым жертвам, забывают о жертвах, им принесенных уже до войны. Ведь к ней готовили десятки лет прославленного «вооруженного мира». Эти же годы были отмечены небывалым подъемом экономического благосостояния, наглядно выражавшимся, по мнению воинствующих патриотов, удвоением за десять лет бюджета, достигнувшего колоссальной цифры – двух миллиардов. Когда Бисмарк наложил на Францию свою контрибуцию, весь мир ахнул, полагая, что богатая страна ее не выдержит. Но эти добавочные миллиарды, которые русский народ принес на алтарь отечества, пожалуй, составят и не одну такую контрибуцию. А в результате – никем не отрицаемое «оскудение центра» и «неподготовленность» окраины, далекой и, быть может, ему совсем ненужной.

* * *

Когда наш университет праздновал свой столетний юбилей, только и было речи, что о необходимости дальнейших жертв. А между тем в течение долгого предшествующего периода все приносилось в жертву Молоху военного величия. В университетах, где незадолго перед тем были уничтожены кафедры философии и государственного права иностранных держав, открыты были кафедры артиллерии и фортификации.

Апофеоз скалозубовского фельдфебеля выразился и на юбилее в следующих бытовых черточках, сохраненных для нас современниками. Когда ученики Грановского, приехавшие с разных концов России, горько жаловались ему, что им не дают билетов на торжественное заседание, он отвечал им: «Можете утешиться тем, что первые места будут заняты бригадными генералами и их адъютантами». На обеде под председательством министра Норова тост за юбиляра – университет был провозглашен только седьмым. Но не прошло и шести месяцев, и тот же Норов, объезжая университеты, уже говорил: «Наука, господа, всегда была для нас одною из важнейших потребностей, но теперь она первая. Если враги наши имеют над нами перевес, то единственно силою образования».

Выслушаем, что говорил питомец Московского университета, правда ничего от него не получивший, но зато отбросивший на него блеск своего имени, профессор и гражданин, которого когда-то мыслящая Россия надеялась видеть во главе своего просвещения, Николай Иванович Пирогов. Расстояние, отделяющее его от переживаемого нами времени, ограждает его от подозрения в излишней горячности и нервности, которые готовы усмотреть в каждом, кто говорит или пишет о жгучем вопросе, заслоняющем в эти минуты все другие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.